

Независимая газета. 1992. 29 авг. - С. 7.

ГОД БЕЗ ДОВЛАТОВА

Многие помнят, каким горем отозвалась в сердцах эта смерть

Петр Вайль

Литература

ГОД БЕЗ Довлатова прошел труднее, чем мне представлялось.

Я думал, что к его смерти готов, во всяком случае, так думал, когда ехал на работу в пятницу 24 августа 1990 года. Я говорил с Сергеем по телефону в половине восьмого — кажется, был последним, кто говорил с ним, — а в десять он умер в «Скорой помощи» по пути в больницу. Трудно выговорить, не выговору — в девять, сидя в метро, я знал, что скажу в эфир: умер Сергей Довлатов.

Сергей не появлялся на радио неделю, звонил мне по нескольку раз в день — все шло, как обычно, — сообщая о степени погружения: уже и лица на потолке кривляются, уже пьет только молоко, но дикая боль в животе (потом сказали, что боль в животе — фантом, это и был инфаркт). Так бывало, и не раз, за последние годы. Единственное, что могло напугать, — некое подведение итогов.

Он словно диктовал. Для памяти — свою литературную иерархию.

Лучший поэт — Бродский. Его Сергей боготворил. В 79-м, когда приехал в Штаты, тут же позвонил и сразу навалялся: «Как ты, Иосиф?» — «Мы вроде были на «вы». Довлатов объяснял, что они познакомились в таком возрасте, когда про «вы» никто не знает («Я перед ним так преклоняюсь, что могу даже «на их», но нам было по двадцать»).

Довлатов из этого эпизода сделал рассказ, только не оформил. Почтение же к Бродскому с годами у него лишь прибавлялось, хотя эту историю он усугублял и украшал.

Сейчас как-то глупо повторять: «Жаль, что не записал за ним». Все равно, конечно, глупо не записать. Кто ж знал.

Знать вообще-то можно было, отсюда и готовность. Да и знали все близкие. Знал и сам Довлатов. Его не напугал даже лживый, по уговорам родных, диагноз: цирроз печени. (Он говорил: «Цирроз-воевода дозором обходит владенья свои».) Сергей в своем сознании как-то проглотил этот приговор, точнее — включил его в общий синдром. Водка — это естественно для русского писателя, а уж последствия — дело Божье.

Да, так лучший поэт — Бродский. Только его читал наизусть загулявший Довлатов. Помню, как знающая все его особенности жена Лена звонила в дом, где находился Сергей. «Что он делает?» — «Стихи читает». — «Какие?» — «Что-то про драму». — «А, минут пятнадцать еще есть».

Это было «На смерть друга», сейчас уже и на эту смерть.

Лучший прозаик — Куприн. Об этом уже тонко написал Лев Лосев: Довлатов считал неприличным иметь в кумирах Толстого или Достоевского, Куприн — это он полагал соразмерным. Добавлю: Куприн был прежде всего рассказчик, а больше всего в своих сочинениях Довлатов ценил это — рассказывание историй, увлекательность, он гордился тем, что его всегда дочитывают до конца.

Лучшая вещь — «Капитанская дочка», что меня удивляло, пока я не понял, что все дело в слезе: Довлатов хотел, чтоб и его читали со слезой, как слова Пугачева: «Кто смеет обижать сироту?» Он и вставлял часто неуместные и чуждые



Фото Марианны Волковой.

всплипы в свои рассказы: кто я, зачем я, отчего?

Тут ему вкус мог отказывать — он мечтал о читателе плачущем. Сменяющегося знал и оттого, видно, ценил мало. Обладая редким чутьем на юмор (у Достоевского любил больше всего смешное и виртуозно находил уморительные места в «Братьях Карамазовых»), Довлатов не выходил из рамок российской традиции, в которой смех — это низость. Думаю, дело в том, что Сергей очень желал массового читателя и понимал, что тому нужен именно всхлип рядом со смешком.

Это, пожалуй, единственное, где Довлатов поступался вкусом. В остальном он был целен и практически неуязвим.

Эта цельность впечатляла сразу и всех, иногда обманчиво. Так, его человеческое совершенство я обнаружил в некрологах и подивился, что они о другом человеке, которого не знал.

Если говорить об идеальности, то она у Довлатова проявлялась в единстве стиля. Он — прозаик был равнозначен себе — рассказчику. Завораживал. Не раз он говорил мне, что если бы не писателем, то хотел бы быть музыкантом: «Выходишь, поднимаешь саксофон, и все умирают». Сам он так обмирал от Чарли Паркера, без устали слушая «Раунд миднайт» или «Лавермена». Довлатов мечтал о немедленном воздействии — и производил его. Сколько раз я наблюдал, как цепенели, слушая эту сирену, даже самые страстные его недоброжелатели.

Он возникал репризой, фейерверком, утверждая атмосферу остроумия и изыска, в любых мелочах. В последние недели его жизни мы завели обычное застолье вдвоем на службе, и Довлатов никогда не обходился в эфемерном банальном колбасе, эффектно доставая какую-нибудь конфету с бахромой. Просто так ему было интересно.

Достаточно было произнести банальность типа «жизнь сложная штука», чтобы Сергей занудно приставал весь вечер: «Зачем ты это сказал? Что ты имел в виду?»

Он был носитель стиля. Но, как это часто бывает, ценил в себе другое. То есть ему некрологи бы понравились. Такой примерно — отрешенный — свой образ он создавал в рассказах.

Он, как и все мы, заблуждался на свой счет, полагая себя в первую очередь психологом, инженером человеческих душ — без иронии. Он погружался в хитросплетения взаимосвязей своих знакомых с вождением почти патологическим — метастазы тут бывали жутковатые: подмоченные репутации, опороченные имена, надломленные союзы. Не было человека — ни одного, даже среди самых любимых и близких, — о котором хищным вниманием Довлатова. Тут он хранил литературное бескорыстие.

Впрочем, сплести интригу, чтобы помирить, ему тоже очень нравилось. Ссорил и обижал он часто, но и потому, что рассказывал о людях смешное, а смешным быть обидно.

Может быть, именно этого его погружения в человеческие связи, с искренней, настырной, честной заинтересованностью в чужой судьбе, более всего и не хватает в год без Довлатова.

Мы-то, супермены хемингуэевского помета, давим чувства и цедим слова и уже не замечаем, как за нашей скупой мужественностью укореняется хамское равнодушие. Довлатов был вскормлен той же суровой поэтикой умолчания, но слишком силен был в нем темперамент и слишком он сам был литераторен, чтобы относиться к своим будущим персонажам

бесстрастно. Он в самом деле переживал, по-кавказски непомерно, неурядицы близких и даже дальних и мог искренне забыть, что сам иногда был причиной бед.

Я знал его достаточно хорошо, чтобы не называть человеком высокоморальным. Но он не умножал дикость бытия.

Он разумом понимал, что надо страдать, чтобы получалось творчество, но наслаждался каждой минутой жизни — хорошей и плохой. С его появлением день получал катализатор: остроумие, едкость, веселье.

Довлатов был живой, чего не скажешь о большинстве из нас.

Сейчас он мертвый, и ничего нет глупее этого. Хотя жил он хорошо, можно позавидовать, да и умер хорошо — в том смысле, что логично.

Сколько за этот год обнаружено версий довлатовской смерти! Самая распространенная — оттого, что укладывался в расхожий стереотип: пил от тоски на чужбине. А от какой тоски пьют весь ЦДЛ и еще несколько десятков миллионов?

Отчего пил — вопрос, как говорят в шахматах, некорректный: неверно поставленный, не имеющий ответа. Сергей любил историю об американском прозаике, которому надоел вопрос — как вышло, что вы стали писателем, он кричал: это бухгалтер надо спрашивать, как так вышло, что он стал бухгалтером. Сергей сказал мне как-то, что с питьем — то же самое: надо удивляться, почему человек не пьет, настолько это ни с чем не сравнимо.

Довлатов вообще был человек рациональный, практичный, даже педант, день его начинался с подробного расписания, и все мы изошлись в издевательствах, предлагая пунктом пятым внести: записать пункт шестой. Так что, начиная очередной заход, Довлатов, конечно, вносил в некий свой реестр тяжелые последствия, осознавал их. Но это не мешало. Точнее, мешало, конечно, но только отчасти.

Что до чужбины, то Сергею в Америке нравилось. Плюс к его преданной любви к американской литературе, плюс к тому, что только здесь он утвердился как писатель, выпустил два десятка книг по-русски и по-английски. Довлатову тут нравилось по-настоящему. Он точно понимал здешнюю неоднозначность, множественность и безосновочно выискивал себе ниши вроде ежесуботней поездики на блошиный рынок, где одержимо рылся в барахле, одаривал потом знакомых дурацкими диковинами и тех же знакомых выставлял с его же диковинами еще большими дураками.

Вот этого тоже не хватало. Оказывается, как ни обидно быть персонажем, особенно отрицательным, персонажем бы лестно. Попадая в поле довлатовской прозы — устной или письменной, — ты вовлекался в высокий круг, иначе недостижимый. Высота задавалась его мастерством.

Я уверен, что пройдет всего несколько лет, и всем станет понятно, что в нашей словесности утвердился писатель с почти безошибочным чувством языка и стиля. Там, где совпадают замысел и исполнение, — повесть «Заповедник», рассказы «Представление», «Дорога в новую квартиру», «Юбилейный мальчик», «Чья-то смерть и другие заботы», другие, все знают едва не наизусть — невиданное с XIX века благородство простоты.

Самое глупое — усмотреть в довлатовских сочинениях выхваченные куски жизни. Убедительнее всего — попробовать и увидеть, как невозможно адекватно передать самое простое интервью. Текст Довлатова оркестрован и выверен, в его фразах не бывает слов на одну букву. Воссоздание жизненного потока давалось ему кропотливой работой и звериным чутьем, точным и органичным, ни у какого де-

ревенщика нет такой достоверно прямой народной речи.

В прозе Довлатова — та «неяркая степная красота», над клишированным образом которой мы так часто вместе хихикали. Он как-то позвонил в полседьмого утра: «Ты подвергнешь меня насмешкам, но я два часа повторю фразу, которую сочинил: «Завтра я куплю фотоувеличитель». Я и теперь не понимаю этого восторга, но точно знаю, что ему, Довлатову, известно было больше, чем мне.

Вероятно, оттого, что ему было известно больше, при Сергее казалось немислимым сказать банальность. Насмешка делалась язвительной, переходя в поношение. Я вслушиваюсь в свою неаккуратную, одновременно стертую и всклокоченную речь: Довлатов бы не простил, а прошел всего год.

Прошел всего год, и, растускаясь, я не ценю и утрачиваю связи и думаю, что Довлатов именно в силу понимания вкуса и стиля людских отношений не допустил бы разладов, которые сам не спровоцировал, он помирил бы.

Он и за женщинами ухаживал со вкусом, сюжетно, литературно, с верой в то, что они ответят и воздадут. И они отвечали и воздавали. Донжуанская репутация тешила Довлатова, но он не позволял себе похвальбы, с увлечением рассказывая, как был бит малолетними хулиганами на глазах барышни. Он, с его внешностью латиноамериканской кинозвезды, при росте 196 см, мог себе такое позволить.

Ему прощалось это. Как и все. И сейчас я думаю: ну, тогда, при звуках сирены, понятно, но сейчас? Талант — да, за дар простить все. Но почему так остро не хватало Довлатова теперь, когда на полке все его тексты, их можно перечитывать, и я перечитываю, о ком из нынешних такое можно сказать?

Зачем человек, когда есть его книги? Текст ведь лучше его сочинителя. Да, наверное, лучше, но не полнее. Не сложнее. Не многообразнее. Не восхитительно противоречивее.

Нет Довлатова одергивающего: «Зачем ты это сказал?» Он в собственный текст не помещался, ему было дело до всякого текста. Он различал людей по способу словосочетания, то есть чисто эстетски, никак не совпадая со своим авторским персонажем, рефлетирующим интеллигентом, которым Довлатов был лишь в небольшой степени. Но пестовал, зная, что так принято, надо. Точный жест уличного бродяги был ему ценнее музея Метрополитен, в который он так ни разу и не заглянул.

Не хватало Довлатова смешного: он не был мастером острой беседы, терялся, бормотал, проигрывал в споре, но царил — рассказывая. Взяв слово, он не уступил бы его Свифту. Лицевые мышцы мои — застыли.

Слух — тоже, мне нужны ежеутренние звонки Сергея с неизменной несуразностью: «Привет, это Довлатов», как будто можно было спутать с кем-нибудь этот голос.

Нужен литературный праздник, приносимый Довлатовым: очередное открытие, вроде смешных слов Смердякова.

Нужно, чтоб он следил за каждым словом, не позволял произносить «пара дней», со всей серьезностью устраивал дебаты об ударе в словах «тефтели» и «торты», чтоб было, на кого равняться в этакое соревновании.

Мне смешно это и нужно это: речь не о «делать жизнь с кого», с Довлатова делать жизнь нельзя и не надо, — но его не хватает, не знаю, сумел ли что-то объяснить. Если нет — опять-таки довлатовская насмешка: оттенки чувств, им узанные и описанные, мне, значит, в словах недоступны.

Значит, просто не хватает его, не хватает куда больше, чем я предполагал. И чем дальше, тем больше.

Р. С. «НГ»: Издательство «Пик» только что выпустило в свет первый в Советском Союзе авторский сборник Сергея Довлатова. В него вошли повести «Зона», «Компромисс» и «Заповедник».